

ДМИТРИЙ БАРАБАШ



СОЛНЕЧНЫЙ ХОД

Дмитрий Барабаш

Солнечный ход

*http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8374952
ISBN 978-5-4474-0228-0*

Аннотация

«Солнечный ход» – четвертый поэтический сборник Дмитрия Барабаша.

Автор ведёт порой скрытый, порой явный диалог с известными художниками и мыслителями прошлых столетий, вместе с ними иронизирует над догмами, весело перемигивается с великими, подхватывает и развивает их мысли и образы, поворачивает знакомые слова неожиданными гранями, обнаруживая их глубину и вечную актуальность.

«Солнечный ход» – творческий отчет автора, подготовленный им к своему пятидесятилетию.

Предисловие к книге: Лев Александрович Аннинский.

Содержание

Предисловие	7
Мы встретимся случайно	21
Память о дождях	22
Поколения	23
Оплошность	24
Первая любовь	25
Я не ушел	26
В твоих словах	27
Бертолуччи	28
БОЖЕСТВЕННЫЕ	29
Прогулка с Данте	29
Разговор с Россией	31
Вложиться в женщину	33
Пятница	34
Бал литературы	36
Разговор о Риме	40
Я шел из рима	41
Люди	42
Магические знаки	43
Последняя встреча	45
Баллада о солдате	46
О богатстве языка	49
барак бабрак бароккорококо	50

Шутка	52
Леде	53
Голоса	54
Кони	56
Путешествие	58
Утренняя сказка	60
Январский дождь	62
ПРЕКРАСНЫМ ЖЕНЩИНАМ	63
Укротитель	63
В змеином царстве	64
Добро скучно	65
Монологи	66
Витрина	67
Сироп любви	68
Зачем менять миры, шары, закон?	69
Вместо	71
Бесенку	72
Работа над ошибкой	73
Ты научишься думать стихами	74
Беатриче	75
Маленькая сказка	77
Жанне	78
Над светом на волоске	79
Я во сне был ногой	80
В Лете	81
Высокое искусство	83

Лейбирий 2	84
Веселая луна	85
Конец ознакомительного фрагмента.	86

Солнечный ход

Дмитрий Барабаш

© Дмитрий Барабаш, 2014

© Адель Вейс, иллюстрации, 2014

Редактор Адель Вейс

Благодарности

Юлия Донскова

Создано в интеллектуальной издательской системе
Ridero.ru

Предисловие

Мне до фени твои приколы!
Дмитрий Барабаш

Каким видит мир поколение, которому досталось в наследство... нет, не безжалостная Советская власть, а ее руины, не сверкающий в будущем Коммунизм, а его химерическая тень, не всемирный смысл происходящего, а пустота на месте смысла. Им не пришлось рвать душу, меняя власть, как рвали прошлое из сердца последние идеалисты – «шестидесятники» (не говоря уже об окопниках 1941 года).

Молоденькие дети новой эпохи даже Перестройку приняли не как патетический переворот, а как очередную усмешку реальности – что-то вроде новой компьютерной игры.

Если знать правила игры – можно терпеть. А если правил нет? Если все вылетело в трубу и будет вылетать дальше? Ни земли, ни неба, «только сны про бога и богиню»? И никаких истин :

Их набор поместится на шахматной доске...

...От короля до пешки – всё про то,
и Гамлет, и да Винчи, и Гораций.
Как мало чистых истин, но зато
как много черно-белых вариаций.

Вариации плодятся бесконечно, и опять-таки: если знать правила варьирования («всё про то»), тогда можно всё... Что всё?

Можно врать пером, щекоча горло,
можно рвать словом, лишенным смысла.
Главное, чтобы по жизни пёрла
карта двух полушарий, меняя числа
не дней, а кресел в аэроплане
и полок в спальном купе вагона,
в котором, прильнув к оконной раме,
ты понимаешь, что нет закона
стихосложения, правил грамматики,
прочих условностей и привычек.
В одной части света царят прагматики,
в другой – канареечный посвист птичек...

В конце такого мирового «Путешествия» поэт за свой маршрут извиняется, предлагает читателю в утешение «двойное виски», а на макушке планеты оставляет «косой пробор».

Итак, ни правил, ни законов. Есть билет – бери место и рви вперед. Впереди пусто, как и позади. Из памяти смыто всё: сверженные вожди, опростоволосившиеся мечтатели, их бредни о Слове, в котором чудились начала и концы... Ничего нет!

Неужели и в летописях культуры – пустота? Но тогда за-

чем в стихах «и Гамлет, и да Винчи, и Гораций»?

Тут я натываюсь на первое плодотворное противоречие, зафиксированное Дмитрием Барабашем: вроде бы ничего нет в этом оглохшем мире, но почему-то каждый вздох оглашается стопами предшественников, выдыхавших в пустоту тысячелетий свои жалобы и проклятия, мечты и надежды! Воздух переполнен голосами! Вроде бы пустота в мире, а притом такая переполненность, когда словечка не вымолвишь, чтобы не обнаружить, что кому-то вторишь.

Прелесть даже не в том, что эффектно чередуются цитаты (это и полагается в ультрамодном центоне), а в том, как они окликают тебя тайными знаками. Иногда явно – когда выплывает ходячий образ с непременно опровержением: «Пятница – вовсе не друг Робинзону, он – пьяница и прохвост». Или такое: «И что за глупость: быть или не быть?» Или: «Я знаю только то, что ничего не знаю». Очень актуально.

Но настоящая виртуозность – это когда среди шумного литературного бала появляются маски, шепчущие: «Об Осе и Ёсе, о Веле и Мире». Хлебникова угадали? И Осю Мандельштама? А Ёсю? Если есть сомнения, то вот подсказка:

Листает века Шекспир,
Высоцкий выводит SOS,
и Бродский рисует Рим
на фоне стеклянных звезд.

Рим там или Венеция — не важно. Везде что-нибудь такое: качается девочка на шаре, изысканный бродит жираф, и растет не просто трава, а трава тарковская, если же щебет птица, то это синяя птица, которая и есть Беатриче.

Метерлинк переглядывается со старыми классиками, новые классики переглядываются с нами. «Я позвоню своей любимой маме, чтобы теплее стало на земле»... Кто звонит? Окуджава, конечно. А что у Набокова слово похоже на серп и молот, не замечали? А если не серп и молот, то инь и ян. И всегда ведь есть, кому попенять на происходящее:

Ах, Александр Исаевич, всё же негоже
телеэкран декорировать патиной меди.
Время давно почивать на заслуженном ложе
в лаврах, на шкуре облитого солнцем медведя.

Тут дело даже не в том, что литературные оклики несутся из-под всех шкур и со всех лож. Дело в обратной перспективе, из-под всех зарослей рычат волки, рывкают медведи и поют синие птицы, но чем отчетливее голосит эта словесная рать, обжившая каждый миллиметр пространства, тем непреложнее (в стихах Барабаша) сквозит и зияет в мироздании неодолимая бессловесная пустота.

Всё уже свершилось. Отговорило. Сварганилось. Скукожилось. Хорошо, что живешь после всего:

Лучше жить позже, когда бежать уже некуда,

и уходить – некуда, и отступать тоже.
Когда уже всё наперед ведомо
и, как говорится, написано на роже...

Рожа, между прочим, это то, чем прикрыто лицо, это тоже знак крутого стиля, не менее современного, чем феня или приколы. Но проследим дальше за тем, что именно написано на роже:

Лучше жить после великих свершений,
не имеющих отношения к тебе единственному.
Когда не играет роли социальное положение
и свергнуты догмы, возведенные в истины.

Мягко сказано, надо признать. Ни явных проклятий, ни жестких опровержений, скорее, пробуждение от сна. Или от снов:

И вся эта муторная – пидорасья – страна
любовалась изящным скольжением того,
что казалось небес отражением...

«Пидорасью» отнесем туда же, где морда. Это знак стиля. Но как бесповоротно «бандитский разбой» прошлого (и будущего) покрыт сумерками «вечности», и как эту муть (не жуть, а именно муть) кроет «строгих икон молчаливый укор»...

Кроет, между прочим, «многоэтажно», то есть не те-

ми словами, которые «в начале», а теми, которые в конце, что ли, этой отыгранной комедии.

В общем, там, где предшественниками предполагалась глубина, там только скука и мелкая грязь, там, где, казалось, было больше света, обнаружилось и больше грязи, там, где грезилось счастье, там, как выяснилось, прах.

Но есть все-таки в реальности что-то, обнажившееся из-под праха?

А как же! «Фарцовая тусня». Это – по-новой фене. А по старой – «квартирные вопросы, долги, машины, дачи и дубленки». В брезгливой злости по отношению к этой оргии потребления Дмитрий Барабаш смыкается с самыми непримиримыми поэтами своего поколения, но даже в этом ряду выделяется броскостью определений:

Здесь правят миром злые пылесосы,
а лицами – фарфорные коронки...

Так и хочется вернуть «лицам» неподдельность «морд». Впрочем, Барабаш это и делает, видя своего встречного героя «с дебильной рожей на лице». Такая теперь Песня о встречном.

А между тем, почувствовано и сказано с потрясающей точностью: «Нам одолжили вечные вопросы и приказали – золотом вернуть».

Золотом? А может, фарфоровыми коронками?

«В усы и бороды засовывая Мандельштамом сваренных ершей».

Без Мандельштама – никак? Никак. Пора кончать эту жвачку про «свободную страну»... А на закуску – поразительное по точности завершение пиршества: «И закончим перестройку обрезанием сердец».

Ну, закончим. А потом все-таки попробуем поискать начало?

Оглядываясь в прошлое, Дмитрий Барабаш находит мощную поэтическую традицию касательно истории России и пробует в нее вписаться. Россия в мировой истории – уникам. Умом ее не понять. Советчики со стороны не нужны. Нам закон не писан. От закона мы прячемся в благодать. Наследуя эту тему, поэт ХХI века добавляет в нее... Что? Сейчас услышим:

Россия-мать – разведена с отцами.
Отцы трясут могучими концами,
но нет России дела до отцов.
И до детей, распущенных из чрева,
и до того, кто скажет: «Слушай, дева,
зачни хоть раз без этих подлецов,
зачни бесстрастно, чисто, беспорочно,
как будто ты Иосифа жена.
И вот тогда, я это знаю точно,
ты вылезешь из вечного дерьма».

Вам ничего не напоминает эта мизансцена? Что-то подобное слышала Анна Ахматова от Анрепа, звавшего ее в эмиграцию. И ответила ему, как если бы голосом Анрепа испытывал ее сам Всевышний. У Барабаша отвечает искустителю сама Россия:

Я не хочу. Ты лучше изнасилуй,
чтобы фингал, чтоб кровь, чтобы свобода,
чтобы проснулась совесть у народа,
и не мешай мне чувствовать восторг
от улицы, закрученной спиралью,
от трех углов, от слов, налитых сталью,
от утреннего звона куполов.

Я думаю, что и звон куполов (звонящих сталью), и закрут улиц (из которых нет выхода), и восторг от трех углов (после которых четвертому явно не бывать), – всё это уравновешивается словом «изнасилуй». Просит же страна!

От ахматовской строгой взвешенности отличает нынешнего поэта вольная замашка, помогающая вынести задавленную ярость при мысли о прошедшем. Вот интересно: в настоящем лучше дерьма не касаться, в грязь не вляпываться, хранить пренебрежительное спокойствие, но при мысли о прошлом, да и о будущем – скомпенсироваться по полной:

Человек в России звучит страшно,
Как окончательный приговор.

Всё остальное уже неважно.
Мы чувствуем правду в упор.
Что же за правда?
Время тайных убийств
Без судов и следствий.
Просто пуля в затылок, и все дела.
Просто у самолета перелом крыла.
Просто нашествие стихийных бедствий.

Стихийные бедствия очень кстати после смертоносной жары 2010 года (чтобы не заглядывать за рубеж с их торнадо, тайфунами и цунами). За рубеж времени тоже лучше не заглядывать:

Мы еще вспомним Сталина с его шарашками.
Неприкрытую подлость глаза в глаза.
Мы еще вспомним Брежнева с Чебурашками,
Взлетающими в олимпийские небеса.

Имея такую ошарашивающую перспективу, не пора ли, наконец, вспомнить Господа Бога? Его Барабаш, естественно, поминает, и довольно часто. Приблизительно столько же, сколько его давние предшественники партию и коммунизм. Но дело ведь не в том, кто что поминает, а в том, что заставляет его это делать.

Бог у Барабаша – присказка. Поминается к случаю. Сидит где-то там на небесах дед седобровый и ухмыляется. В наших соблазнах и бедах – не повинен:

Блеск мишуры придуман не богами —
и тем ему назначена цена.

И сколько ни топчи его ногами, как виноград —
ни хлеба, ни вина.

Мы топчемся тут, а он — там.

Может, это он нам приснился? И мы его придумали...
на досуге? Или это он придумал нас? Тоже на досуге — прилег
и нащептал. А мы кинулись исполнять. Этакий свет в окош-
ке!

Каждой пылинкой света, летящей к небу,
каждой былинкой, каждой былиной, каждой ракетой,
всякими шаттлами там, всякими там челноками,
мы поигрались немножко с богами, с веками.
Мы получили пригоршни ответов и горы задач...
Прыгал, звеня под рукою измученный мяч...

Ну, мяч, понятно. А вот насчет задач — поразительно точ-
но сказано. А в результате всё оборачивается игрой. Ска-
чет мячик. Бред какой-то нездешний... Да не бред, а сон!
Притом сон поэтический. Вдохновение! У кого? У нас, есте-
ственно. То есть у Бога... искусственно. Искусно!

Бывает и у Бога вдохновение.
То Моцартом он будит страшный сон,
то Пушкина веселым дуновением

сметает пыль с нахмуренных икон.
То капельками, как свеча в бумагу,
Он открывает миру Пастернака.
То назначая тень пустым вещам
подмигивает, словно Мандельштам...

Без Мандельштама – никак...

Так есть что-нибудь «свыше» или нет?

Нет. Ничего нету. Не проистекает!

Чем больше близких оставляет нас,
тем мир иной становится нам ближе,
и выставляет, словно на показ, всё то,
что не проистекает свыше.

Так что если ближние станут тебя доедать, и ты вынужден будешь с этим смириться, вспомни, что ты – «божий дух в человеческой шкуре». Легче будет.

И не думай, что нет никакой связи между Всевышним, дремлющим в небесах, и нижним уровнем бытия, который в России таков... О, мы по опыту знаем, каков он в России:

Человек в России звучит страшно,
как окончательный приговор.
Всё остальное уже неважно.
Мы чувствуем правду в упор...

Сейчас сверкнет непременно мандельштамовское лез-

вие:

Сверкает лезвие брадобрея,
скользит по аорте то вверх, то вбок.
И всё-таки, чем человек добрее,
тем уязвленнее будет Бог.

Так что связь есть. Отрицательная. На Бога не надейся.
Потому и не плошай. Ничего хорошего нас не ждет, если сам
Бог уязвлен нашими успехами. В результате такой эксперти-
зы грядущему веку предвещена чума.

Как спастись?

«Плечом к плечу с народом».

Нет, теснее! «К заду – зад!». С юмором в заду. С нежно-
стью на устах. И с твердостью в безжалостном сердце.

И чем нежнее ты вольешь
любовь в рифмованную твердость,
тем очевидней станет ложь
и тем бессмысленнее подлость.

То есть ни от лжи, ни от подлости не уйти. А чтобы этот
фатум стал очевиден, нежно бесстрашие поэта. Жизнь впору
отсчитывать заново. От нуля. Начинать приходится заново.
С нуля.

«А чем помочь?»

В четырнадцать лет поэт со скучного городского тротуара

мечтает «вернуться к травам»? (70-е годы на исходе).

В семнадцать лет, любуясь белизной деревенского снега и следами лосиных копыт на февральском насте, отдает себе отчет, что слякотный асфальт от снега не посветлеет, и сколь ни бежать от его проблем, возвращаться придется. (80-е уже наступили).

После сорока – «проклятые вопросы» лезут под шапку, и каждый волосок требует суда. Куда деваться? В секту? В запой? В трубу... всё в ту же – «вылететь в трубу»? (А уж новое тысячелетие на дворе).

Талант заставил выкладывать отчаяние на бумагу.

«Я знаю точно, что одна строка вернет нам всех, кого мы потеряли...»

Ах, если бы... Но если пытаться? Оттачивать слово? Испытывать его молчанием? И снова оттачивать...

«Можно словом кончать, но его невозможно прикончить».

Ни допеть песню, ни оборвать ее, ни исчерпать горечь, ни смириться с её неисчерпаемостью...

Родина, ты песня недопетая,
От которой пробирает знобь...

Знобь – знак подлинности тех чувств, с которыми оглядывается вокруг себя человек, получивший в наследство сначала «сто миллионов солнечных прозрений», а потом – в ком-

пенсацию – «пару рюмок с вашего стола».

Лев АННИНСКИЙ

Мы встретимся случайно

Мы встретимся случайно.

Что за чушь?!

Мы встретимся

по Божьему велению.

И будет не похоже на затмение
взаимное сложенье наших душ.

1977

Память о дождях

Я помню ливень, капель суету,
кривлянье луж в танцующем саду.
Могила близких и протяжный гром,
как скорбный марш грядущих похорон.
Мой мокрый посох – память о дождях,
сложноголосых, сверженных вождях.
Я весь оттуда, я останусь там,
идушим в ливень по пустым садам.

1979

Поколения

Бывают времена.

В них прыгнешь, ну а дна
достанут лишь пронырливые внуки,
и там, где мы предполагали глубину
и тем спасались от смертельной скуки,
они пройдут по илистому дну,
лишь до колен
засучивая брюки.

1985

Оплошность

Я обещал ему жизнь вечную
и свет, сияющий в конце,
а он вдруг выскочил на встречную
с дебильной рожей на лице.

2000

Первая любовь

Как это трудно – жить роман,
начертанный давно и точно,
искать по людям и домам
хоть два затерянных листочка,
хоть две нечитанных строки,
два неслучившихся мгновенья —
прикосновения руки
и губ твоих прикосновенья.
Опять сбывается глава.
Жизнь – это растворенье смысла
любви
на длинные слова
и одинаковые числа.

2005

Я не ушел

Я не ушел, когда мне предложили.
Не предложили даже, а вложили
мне море знаний и вселенных снов,
сто миллионов солнечных прозрений,
семь миллиардов ваших откровений.
Я не ушел, я стал молоть эпохи,
нести фигню и вашу водку пить.
Но та фигня бывала так похожа
на истину,
что покрывалась кожа
мурашками,
и к памяти ползла
доисторической,
и пробиралась выше.
А мне бы две пригоршни ваших вишен,
мне б пару рюмок с вашего стола.

2006

В твоих словах

В твоих словах уже слышна
такая искренность и воля,
что допускать в них не должна
ни тени зла, ни капли горя.
И чем нежнее ты вольешь
любовь в рифмованную твердость —
тем очевидней станет ложь,
и тем бессмысленнее подлость.

2007

Бертолуччи

Не вмешивайся в ход
неправедных событий.
Не забегай вперед
пульсирующей нити.
Не закрывай глаза
во сне или со страха.
Не говори точнее,
чем вытерпит бумага.

2008

БОЖЕСТВЕННЫЕ КОМЕДИИ

Прогулка с Данте

Когда тебя какой-нибудь Вергилий,
или Дуранте,
или Моисей

однажды поведет по той дороге,
где встретишь всех, кто мыслил,
как живых.

Живых настолько, что обратно «как»
вернет тебя к тому, где жил, не зная
о вечной жизни.

Вот когда тебя,
за руку взяв иль буквой зацепив
за лацкан уха, поведут туда —
ты будешь видеть и себя другого,
живущего в пустых календарях,
насущенный хлеб свой добывая всеу
и растворяя мысли в словарях.
Ты будешь видеть все, и знать, и ведать,
и править тем, что где-то вдалеке,
в пыли межзвездной мыслимо едва ли...

Но не дай Бог, вернувшись в бранный мир,
в угоду страсти что-нибудь поправить
в том бесконечном зареве любви.

2014

Разговор с Россией

Россия-мать разведена с отцами.
Отцы трясут могучими концами,
но нет России дела до отцов
и до детей, распущенных из чрева,
и до того, кто скажет: «Слушай, дева,
зачни хоть раз без этих подлецов.
Зачни бесстрастно, чисто, беспорочно,
как будто ты Иосифа жена.
И вот тогда, я это знаю точно,
ты вылезешь из вечного дерьма».
Но отвечала мудрая Россия:
«Я не хочу. Ты лучше изнасилуй,
чтобы фингал, чтоб кровь,
чтобы свобода,
чтобы проснулась совесть у народа,
и он пошел спасать меня от разных
несоразмерных, строгих, буржуазных,
непьющих, озабоченных делами,
иди ты сам, любезный, к Далай-ламе
и не мешай мне чувствовать восторг,
от улицы, закрученной спиралью...
от трех углов. От слов,
налитых сталью,
от утреннего звона куполов,
от тех основ,

которые как прежде
дают надежду каждому невежде,
от лени той, от созерцаний тех,
с которыми ни слава, ни успех,
ни гений кропотливый не сравнятся.
Мои порядки сводят иностранца
с ума... А ты мне предлагаешь путь,
в котором нет дороги для народа
и для меня. Нелепая свобода
железных истин, жизни без труда
духовного —
лишь видимость достатка,
в которой все проходит без остатка».

Вложиться в женщину

Твои зеленые глаза,
как до свиданья — два часа.
Твои размашистые жесты,
как с кольцевой дороги съезды.
А там другая кольцевая.
А я хочу дожить до мая.
Мне страстно хочется весны,
когда на улицу слоны
выходят стройной чередой —
и вдруг в фонтанах бьют сомы —
сомы, счастливые собою.
И мир становится другим.
В него опять мне надо вжиться,
как будто в женщину вложиться.
Но осторожен мой клинок.
Зачем блистать меж сонных ног,
когда часы ведут усами,
как рак: то в сторону, то в бок,
и жизнь, забитая рамсами,
глядит лениво в потолок.
Мне нужен светлый уголок
трудов, покоя и свободы,
чтоб поутру, нахлынув, воды
смывали пошлость и порок.

Пятница

Время – иллюзия.
Только бы нам,
как Робинзону Крузо,
вас научить словам,
делая по засечке
на дверном косячке,
милые человечки
с кольцами на руке.
Этот безумный Пятница —
пьяница и прохвост —
мне, безусловно, нравится.
Он соблюдает пост.
Вот уже девять месяцев
он никого не ел.
Белым почти что стал уже,
сгорбился, похудел.
По лбу его невинному,
словно великий Нил,
скорбь протекает смутная —
мог ведь, а не убил.
Вот он в точеном смокинге
с трапа крылатых фраз
сходит, бросая в ноги мне
пару брезгливых глаз.
Этот великий Пятница —

трезвенник и мудрец —
мне, как и прежде, нравится.
Держится! Молодец!

Бал литературы (бесы)

Десять безумных веков
на наборном паркете.
Бал начинается.
Дайте ж, красавица, руку.
Скоро приедет палач
в золоченой карете.
И раз два три, раз два три,
раз два три, раз два три.
Бал начинается
и по кровавому кругу.
Ах, Александр Исаевич, не говори...
Вспомнят ли
первопричинную литературу
мутные витязи
праздничных будней России.
Бубном ударят по черепу
полускульптуру
с даунским взглядом
великого полумессии.
Бал начинается.
Войско стоит при параде,
в дряблой юфти
скрыв свои пролетарские ноги.

Ты насвисти-ка с обложки
старинной тетради
музыку гимна народа
с разбитой дороги.
Кольца спирали, чем дальше,
тем уже и уже.
Хуже не будет, казалось,
ведь не было хуже.
Страх из потемок души
выбирался наружи,
в ружья, в стволы,
в позабытые ликами рожи.
Ах, Александр Исаевич,
все же негоже
телеэкран декорировать
патиной меди.
Время давно почивать
на заслуженном ложе
в лаврах, на шкуре
облитого солнцем медведя.
Музыка грянет,
и цокнут смоленной резинкой
рванные полчища
литературных громил.
Будет цветочница бегать
с плетеной корзинкой
между мазурок
танцующих с небом могил.
Все бесконечное

проистекает впервые.
Все безусловное сказано тысячу раз.
Не зеркала, к сожалению,
стали кривые,
а перекрестья различных
сословий и рас
так изменили черты,
означавшие лица,
что не прочесть ни ума,
ни стремленья к уму.
Бал начинается —
оп-ца-ца, лан-ца-ца, дрица —
и предвещает грядущему веку чуму.
Шаркнет подошвой
по лаку наборных паркетов
новый начальник, вершитель,
наместник, стрелок,
словно сошедший с грунтовки
кровавых багетов.
Как безошибочно точен
в России пророк!
Нет. Не понять. Не поверить.
И не обознаться.
Не изменить. Не поправить.
Не выдержать штиль.
Только с затекших по горло
колен приподняться
и написать о правах обреченного билль.
Бал начинается.

Скоро потянутся в книги
странники мраморных станций
столичных метро.

Что там творится? Наверное,
снова интриги,
снова война и, наверное,
слово не то?

2000

Разговор о Риме

Давай с тобой про Рим поговорим.
А стоят ли могилы разговора?
Давай с тобой, как порох, воспарим
и вылетим, как гильза из затвора.
За пулей было сжато столько слов,
прощений, откровений
и проклятий,
что в бесконечность
выбилось число,
подхваченное эхом на закате.
Наш медный звон,
отброшен, словно тень,
от ужаса беззвучных воскресений.
И клонится к развязке судный день,
насквозь пронзенный
песенкой весенней.

Я шел из рима

Я шел из Рима в Иерусалим.
Каким по счету был сегодня Рим?
И кто его считал? Какой наукой?
Какой поэт укладывал в строфу?
Земля струила медленной разлукой
передо мной тарковскую траву,
как за ручьи удерживала реки,
спешащие исчезнуть по морям.
Я шел камнями в Рим,
из Рима – в Мекку,
к стене печали,
плакать по корням.
За веком век, как за самим собою —
незримый, словно солнце за луною.

Люди

Бог не скупился, когда раздавал
каждой душе по солнцу.
Он проникал и в дворец, и в подвал.
Он целовал незнакомцев.
В каждом зачатъе Он третьим стоял
и наблюдал лукаво.
Всем до единого – крылья раздал,
всем до единого – право
ласточкой резать просторы небес
и говорить Словами.
Люди решили, что лучше без —
мы все сумеем сами.

Магические знаки

Не то чтоб я устал,
заговорив о Боге,
не то что б я узнал,
куда ведут дороги,
начавшиеся там,
где появилось Слово,
не то чтоб я нашел
следы пути иного
к прозрению души,
к любви или покою...
Я был как водопад,
я горною рекою
срывался с облаков
и бился об арыки,
я воплем ишаков
глушил людские крики,
я возводил Тянь-Шань
теньями над пустыней,
я пил то инь, то ян,
то высю ярко-синей
я напивался в стельку, в полный срач...
И черный загребуший карагач
пускал в меня иссушенные корни.
Арыки сохли. Спотыкались кони.
И солнце осыпалось с тополей.

И только полумертвый соловей,
преодолев земли пустые страхи,
нашептывал магические знаки,
мелькая в перекрестиях ветвей.

Последняя встреча

Поцелуй меня там,
где внезапно закончилось время.
Я хотел бы подняться,
я всех бы развел по местам,
воскресил бы друзей,
сунул ногу в небесное стремя
и взлетел над землей,
как секундная стрелка —
не по цифрам скользящая —
по голосам.

Что там будет? Кто встретит?
Как сделают сказку?
Серый волк станет плакать
над чепчиком желтой козы.
Остается ловить
промелькнувшую выстрелом каску,
абсолютно пустую,
и слизывать капли с росы.

Баллада о солдате

Итак, герой моей баллады.
Он претендует на роман.
Он хочет разводить парады,
как строчки по чужим томам.
Но удивляется... На полке,
без эполет, сменив мундир,
один лишь том
в безумной челке,
и тот, зачитанный до дыр.
Что делать дальше? Жить-то надо.
Куда же направлять войска?
Я б дал солдату мармелада,
но знаю, что его тоска —
одно стремление к свободе.
А там, а там, а там, а там...
Не дай мне, Господи, в пехоте,
пошли меня к другим родам.
Допустим, к авиационным.
И будет резать чудный МИГ
лазурь, блестя крылом,
подобным
тому, что я во сне постиг.
Он станет соплом плавить тучи,
как мысль моя, и так вилять
хвостом любви своей могучей,

что, просыпаясь, слово»... мать»,
какая пасмурная хмурость!
Но долгом праздничных баллад
меня послали на парад,
и – до звезды,
каким там родом
я встану,
как последний гад,
зато плечом к плечу с народом,
и даже ближе: к заду – зад.
Отброшу напрочь вшивый томик,
где тараканы и клопы...
Давай-ка лучше тыщу хроник
на радость алчущей толпы,
строфой трофейной подытожим
и в золотые корешки
иной порядок жизни вложим,
порезав землю на кружки.
А после будем на кладбище,
среди несносно трезвых звезд,
искать у трупа в голенище
топографический прогноз
великих тайн, несметных кладов,
устав от меди и парадов.
Итак, герой моей баллады.
Его, как хочешь, назови.
Он умирал под Сталинградом,
в Афгане слушал Ансари.
Как описать судьбу солдата?

Чечня, Словения, Бишкек —
война
с заката до заката
по кругу замыкала век.

Лишь детский сон с настольным солнцем
ласкал страницы мирных нив,
где он был тоже стихотворцем,
над книгой голову склонив...

О богатстве языка

В русском языке —
пятьсот тысяч слов.
В английском – триста тысяч.
А я говорю языком ослов,
в ваши души губами тычась.

И нужно ли больше? Я говорю,
глаза поднимая к небу,
к тому лаконичному словарю:
солнцу, воде, хлебу.

Истин так мало, что их приукрашивать —
глупая трата времени.
Вы научитесь сначала спрашивать,
а дальше решайте, теми ли?

барак бабрак бароккорококо

Дмитрию Невелеву

Послушайте, вилли, вы или забыли,
что мили под килем, виляя, уплыли?
Вы или забили на то, что финтили
ленивые тили в типичной квартире.
Об Осе и Ёсе, о Вели и Море,
о том, что уже замочили в сортире
мальчишек, драчёных
на красном клистире...
Послушайте, вилли,
так быть или были?
Так слыть или слыли?
Так срать или срали,
когда ускорялось дурацкое ралли —
и жизнь проносилась,
как муха под килем,
гремя плавниками по мелям и милям
пустого пространственного одночасья...
И вся эта муторная —
пидорасья —
страна
любовалась изящным скольженьем
того, что казалось небес отраженьем,
и тем, чем горчила,

как водка и деготь,
судьба, острой щепкой
целуя под ноготь?

Послушайте, вилли, равили, тютили,
фаэли, растрелли, говели, постили,
барокки, бабраки, канары, сантьяги
и красно звенящие медные стяги,
и вялотекущие белые суки,
и белые-белые
мамины руки.

2000

Шутка

Смерть такая каверзная штука,
что ее давнище пережив,
я ищу уверенного друга,
в том, что он бессовестен и лжив.

Мы включаем лампочки в потемках,
мы взрываем замки в облаках,
и в газетных маленьких колонках
мельком вспоминаем о богах,

о любви, о творчестве, о вере,
о себе, как это ни смешно...
Кто кому приоткрывает двери
в то, что им уже предрешено?

Я уйду в зеленые высоты
за слеженьем зловеликих глаз.
Я уйду туда, где пахнут соты
солнцем, отразившимся от нас.

Леде

Я не тоской приду к тебе болотной,
незримым светом наполняя тьму,
прижмусь к твоим рукам
щекой бесплотной
и рядом по-мальчишески усну.

Мы будем вместе так, что никакими
причудами земли не разлучить.
Мы полетим лучами золотыми
лазурный сок с вишневых листьев пить.

Людьми земными встанут наши тени,
их окрылит возвышенная речь,
в которую рекой впадает время,
как в океан, переставая течь.

Голоса

*Я был скорее звуком, чем —
стыдно сказать — лучом.*

И. Бродский

Посмотришь на слово — свет.
Произнесешь — звук.
А если сказать про себя,
совсем не произнося,
окажешься где-то вне,
и гулкий сердечный стук
не сможет пробиться сквозь
бесплотные голоса.

Как описать тот свет,
в котором есть всё... и нет
касаний, зрачков, ушей,
трехвекторных плоскостей,
и время — не от и до —
ни смерти, ни дней, ни лет —
один первозданный свет
без цвета и без частей,

мерцания светлых лиц
на рифмах крылатых плит,
на гранях парящих слов,

сложившихся в строгий ряд,
здесь образами миров —
объемами пирамид
бесплотные голоса
печалются и творят.

Листает века Шекспир,
Высоцкий выводит SOS,
и Бродский рисует Рим
на фоне стеклянных звезд...

Кони

По валунам горной реки
каждым копытом
цокая точно в цель.
Люди смотрели на небо,
как будто с руки
пили воду,
спасавшую их
от несметных потерь.

Ну куда же ты скачешь?
Зачем ты рифмуешь леса
с городами, ручьи —
с бесконечным ознобом души?
Неужели ты думаешь
Слову важны словеса?
Если видишь точнее,
то вытащи и покажи.

Мне шаманский твой приговор,
как приговór для тебя.
Мне картавый твой выговор,
как валуны, пригубя,
по которым копытами
цокают кони в ночи.
Безошибочно точно,

не трогая пламя свечи.

Путешествие

Можно врать пером,
щекоча горло,
можно рвать словом,
лишенным смысла.
Главное, чтобы по жизни перла
карта двух полушарий,
меняя числа
не дней, а кресел в аэроплане
и полок в спальном купе вагона,
в котором, прильнув
к оконной раме,
ты понимаешь,
что нет закона
стихосложения,
правил грамматики,
прочих условностей и привычек.
В одной части света
царят прагматики.
В другой —
канареечный посвист птичек.
Если же ехать довольно быстро,
то можно тормознуть
и утро, и возраст.
Пусть будет на палубе чисто-чисто
и веет пронзительно свежий воздух.

Нет ничего преисполненной смысла,
чем следить по карте названия точек,
проплывающих снизу.

У этого мыса
слегка раздраженный
божественный почерк,
а тот континент
похож на индийский
кувшин с бесконечным
цветным узором.

Простите. Конечно,
двойное виски.

Смотрите,
планета с косым пробором.

Утренняя сказка

В День рождения Адели
солнце нежится в постели
в накрахмаленных лучах.
Там в одной из скальных складок,
пенно-горек, темно-сладок,
прячет тысячи разгадок
в карих гущах и ручьях
африканских ароматов
сонный берег, нежный страх.
Вдруг ускачет по обоям
зайчик солнечный, с собою
всех изысканных жирафов
и валяжных львов забрав.
По горам и по долинам,
по коленям и ложбинам
вереницей бесконечной
звери грустно побредут.
Их никто не остановит
остро вздернутой ладошкой,
их никто не образумит
строгим взглядом свысока.
Только сдвинет осторожно
горы грозною гармошкой
от стены до горизонта
чья-то мудрая рука.

Только голосом неместным
кашлянет, как гром небесный,
и густым табачным дымом
застит сладостный простор.
И тогда, конечно, звери
побегут скорей к Адели,
а не то туркмен с метлою
их развеет, словно сор.

Тоньше перышка, качаясь,
ты потягивалась хрупко,
озаряла мир улыбкой
и каталась на слоне,
словно девочка на шаре
или тающей луне.

Январский дождь

Вот и дождь прошел в конце января.
Купола, как зонтики, над страной.
Бьются капли грустные, говоря,
что творят недоброе за стеной.
Речь течет обратно: урлы-курлы.
Солнце свет сливает, как водосток,
и хвостами по небу журавли
неумело пятятся на восток,
где багрянец зарева под луной,
словно смотрит строго бельмесый глаз,
на страну, которую ты со мной
провожаешь ласково в оный раз.
Все пройдет, любимая, как дожди,
как дрожит под поездом твердь земли.
Ты прижмись теплее и Расскажи,
как мы жили в сказочной той дали,
где леса не сохли, росли хлеба,
где красавиц юных в уме не счесть,
где за кромкой света искал тебя,
не надеясь даже и выжить здесь.

ПРЕКРАСНЫМ ЖЕНЩИНАМ

Укротитель

О женщины, я вас всегда любил,
как укротитель сладкую угрозу,
когда ему прекрасный крокодил
в зубах преподносил живую розу.

В змеином царстве

В змеином царстве лучшую змею
я выбираю для услады сердца.
И, как птенца, ей сердце отдаю,
чтоб стать причастным
к тайнам изуверства.

Добро скучно

Мне говорила томная дуэнья,
что за нее ходили на дуэли
и там теряли чудные мгновенья,
которыми до этого горели.

Рассказывала злая поэтесса,
что Клеопатра вышла из шатра,
чтобы придать немного интереса
тому, что исходило от добра.

Добро скучно.
И что же с ним поделать?
Объять? Никак.
Распят? За просто так.
О женщины,
как вам присуща смелость
над смертью
возноситься на кострах.

Монологи

Зачем пытаться видеть,
знать, творить,
ведь ни одной еще не удавалось
преодолеть щекочущую прыть
и обрести высокую усталость.
Быть может, в старости,
когда отпляшет плоть,
в слепых огнях
разгуливать овчаркой,
я поднимусь, чтоб небо приколоть
отравленной
английскою булавкой.

Витрина

То возносясь с изяществом стрижа,
То улыбаясь мудростью дельфина,
Он обещал, что будет хороша
Любви люминесцентная витрина.

Сироп любви

И что за глупость – быть или не быть?
Будь я одной из тысячи Офелий,
Я снова стану Богу в уши лить
Сироп любви из ядовитых зелий.

Зачем менять миры, шары, закон?

Зачем пенять, стенать, напоминать,
с кем водку пить,
с кем хлеб ломать,
с кем спать.

Мне надоест бывает очень сложно,
бред мудрости я выучил подкожно.
Он бередил мне зубы и хребет.
Зимой морозил, подавал совет:
держись тепла,
но вдруг тепло заносит
куда-нибудь за тридцать —
тридцать восемь,
что для Москвы, наверное, подходит,
но мне — никак.

А там луна восходит,
там по волнам нудистская дорога,
соблазнами невинного порока
кичится, бля...

Морская, бля, природа,
как утверждение жизни,
как свобода
мужских начал...

В ночной тени причал
пощечиной встречает шепот яхты.
И гальки крик плеснет прощально:

– Ах ты...

запрыгает, – паскуда, пидарас!

Уставший капитан в который раз
заметит шефу: «Надо брать охрану,
чтобы картинка не ломала раму
беззвучия в лучах ночных светил, —
ни то со дна, что я не досмолил,
пробьются маршем строевые фразы,
и купленный в Зимбабве крокодил,
съест все сословья,

вдохновляя массы —

на плац и клаять до утра нутром...

Так пусть молчит,

пока не знает места

своим рыданьям страстная невеста.

Ей время плыть

с арабским женихом,

как воск со свечки в голубую чашу

мечети...» Мать! Забрали Машу нашу

туда, где нет ни свечек, ни икон.

Зачем менять миры, шары, закон,

когда и тут достаточно простора

для встреч с абсурдом,

для *momento more*,

когда и здесь от каждого окна...

То зубы ноют, то болит спина.

Вместо

Ты поставил меня на границе
между временем и пространством.
Я такой нагой на пустой странице,
что безумно хочется стать засранцем.

Что ты делаешь, друг мой ситный?
Мне до фени твои приколы,
мне до фени твой ужин сытный,
мне до фени твои уколы.

Или сам ты забыл, замулил,
и себя ты повел нечестно, —
то ли пули, а то ли дули,
то ли вместе, а то ли вместо.

Кто потянет такие муки?
Для чего же ты мне подбросил
слов нечаянных злые звуки,
слез отчаянных из-под весел?

Бесенку

Надеюсь я, что твой бесенок
сумеет выпрыгнуть туда,
где улыбается спросонок
ему зеленая звезда —
зеленый глаз вселенских истин.
И вдруг поймешь ты, что всегда
на свете был ты кем-то мыслим,
как солнце, воздух и вода.

Работа над ошибкой

О, как же я хотел вплестись
в извивы пламенных проклятий,
чтобы соединилась жизнь
моя с восходом на закате.
Преодолев земную ночь
я стал смотреть на вас с улыбкой.
И в каждой бляди видел дочь —
и в ней работал над ошибкой.

Ты научишься думать стихами

Ты научишься думать стихами,
наступая ногой на огонь.
Будешь ласково спорить с веками,
положив их себе на ладонь.
И поглаживать, словно котенка,
не открывшего пасмурных глаз.
Ты научишься видеть в потемках
самых ярких и трепетных фраз.

Беатриче

Сколько раз
я тебя поднимал над землей,
Беатриче моя, Беатриче!
Ты была мне сестрой,
ты была мне женой,
ты была мне отрыжкой птичьей,

из которой
построили землю стрижи,
звонким ласточкам
трепетно вторя.
Мне слюна твоих истин
дороже, чем жизнь,
и понятнее здешнего горя.

Сколько раз
я вычерчивал светом мечту,
но она оставалась мечтою.
Сколько раз
отправлял караваны по ту
тишину неземного покоя.

Может быть, моя мысль
была слишком трудна
для того, чтобы

здесь воплотиться.

Беатриче моя, ты навеки одна,
наша самая синяя птица.

Маленькая сказка

Мне нравится слышать,
как замедляется стук
сердца, прижатого к уху
моей души.

Я буду по долу бегать
от всех разлук,
размахивать майкой
и складывать шалаши...

Бездомный шмеленок
станет заглядывать в теплый мир,
любой паучонок,
любой муравей – как в сказку,
а я буду с ними шутить,
выходя из ветвей,
порой надевая,
порою снимая маску.

Жанне

Самой страшной наукой была для меня
та, в которой рукою касалась огня.
Я смотрела в себя, я пыталась понять,
как ее от огня, испугавшись, отнять.

Жанна д'Арк – это шкварка
в небесном пюре.
Так и бегает с вилкой по шару кюре,
залезает на крыши и тычет туда,
где лишь воздух и солнце,
луна и вода.

Отобедать извольте плодами земными.
Вам уже никогда
не подняться над ними.

Над светом на волоске

Я себя за волос с макушки
привязывал к небу,
я летал над светом на волоске,
я губами в губы
встречался с летом
одичалым родинкой на виске.

То весна травинкой
меня касалась,
то хмельная осень
смотрела в грязь,
то зима убийцей
с ножом казалась,
под гусиной кожей ко мне крадась...

Эта кожа без перьев,
как смех беззубый,
как свиная щетина,
как рупь на чай.
Мне земля без перьев,
как хлеб едина,
пополам разрезанный невзначай.

Я во сне был ногой

Я нашел в нашем мире дыру.
Ее долго старались скрыть.
Я засунул руку в его нору —
и мне расхотелось жить.
Ах, зачем же он снова
решил стать собой?
Я увидел сон:
я во сне был ногой.
Она ходит там,
где нельзя ходить.
Она щупает пальцами
черствый хлеб.
И зачем-то тянется белая нить
и зачем-то совесть уходит в Не,
в небытие или к звездам,
или еще куда-то:
туда, где нет хлеба,
туда, где все радостно и пиздато.
Там у меня на коленке
сидит половинка неба.

В Лете

Я знаю только то,
что ничего не знаю
про то, что и когда
придет на смену маю...

Как будто бы июнь,
как будто снова лето.
А я стою по грудь —
меня щекочет Лета.

И ласковый Харон
веселками смешными,
меня со всех сторон
конями пристяжными —

на бережок другой.
С той стороны – и с этой.
А я ему: «Мужик!
Я не купил билета

еще на твой паром
и покупать не стану.
А в Лету я зашел,
лишь для того, чтоб рану

в груди своей промьть
и дальше в путь пуститься.
Меня на суше ждет
румяная девица».

Высокое искусство

Блеск мишуры придуман не Богами —
и тем ему назначена цена.

И сколько ни топчи его ногами,
как виноград,
ни счастья, ни вина.

Лейбирий 2

Мне во сне пришел Лейбсон.
Волосатый, без кальсон.
Молодой такой, вихрастый,
Мефистофель самый красный
из рожденных на земле.
Сколько было в короле
не прошедших в счастье пешек,
как хрустел во рту орешек
страшных знаний...
На столе
шевелился человечек.
Пели бабочки в траве.

Веселая луна

Луна пробивалась сквозь листья.
Луна проступала, как мысли,
и вновь рисовала дорогу
наверх, к седобровому Богу,
И медью своей любовалась
в реке, что ступнями касалась.
И светом звеня, заливалась,
как смехом.
Ни старость, ни младость
ее не могли огорчить.
Ах, как же она любовалась
землей, где мне выпало жить.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.